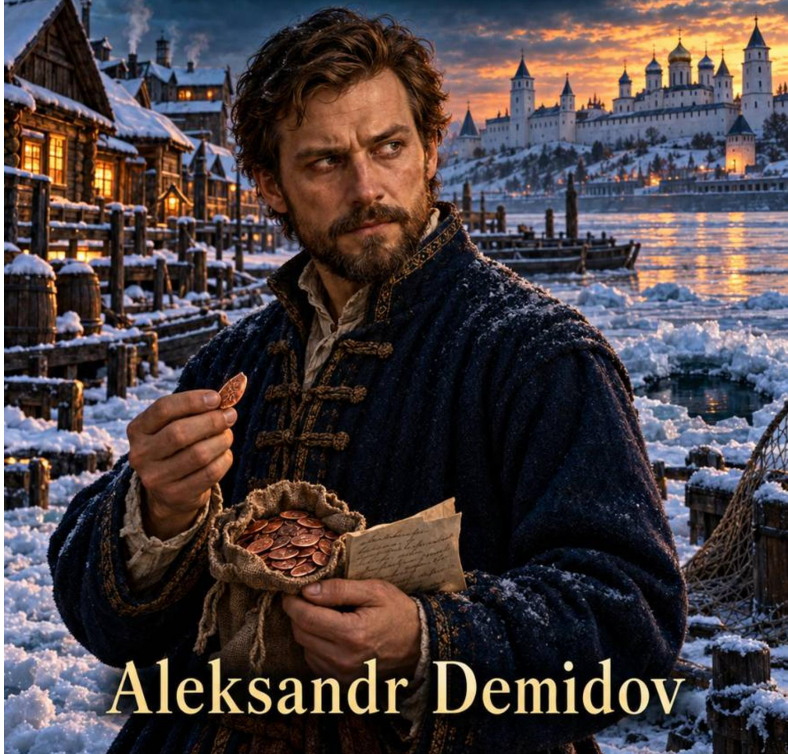


ПОДЪЯЧИЙ ЕРШОВ • КНИГА 2

СДАЧА МЕДЬЮ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ



Aleksandr Demidov

Aleksandr Demidov

Сдача медью

<https://litres.ru/74655399>

SelfPub; 2026

Аннотация

Казань, 1659 год. На Крещение из-подо льда вытаскивают мёртвого москвича. На затылке — рана. При нём — полный кошель. Ограбить не ограбили. Значит, утонул по пьяному делу?

Подьячий Тимофей Ершов замечает странность: одинаковые с виду медные копейки покойник почему-то держал в двух узелках.

Пока Ершов ищет убийцу, по городу расходятся новые деньги. Ими платят за соль и рыбу, выдают жалованье, рассчитываются с работниками. Но стоит одной копейке попасть к московскому проверщику — и честный заработок становится уликой, а человек, который его получил, оказывается под стражей.

След ведёт от казанской мастерской к московскому Денежному двору. Найти виновного ещё можно. Добиться, чтобы ответили все, — куда опаснее.

Вторая книга серии «Подьячий Ершов» — исторический детектив об убийстве, больших деньгах и правде, за которую сдачу дают медью.

Содержание

Иордань	5
Своим небрежением	20
Москвичи	32
Сдача	43
Савкина сеть	56
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Aleksandr Demidov

Сдача медью

Александр Демидов

Сдача медью

Исторический детектив

Серия «Подьячий Ершов»

Книга вторая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Иордань

На Иордань Ершов собирался так, будто шёл к воеводе.

Он с вечера велел Акулине вычистить шубу, и Акулина вычистила, ворча, что шубу чистят к Пасхе, а не к Крещенью, и что на льду её всё одно затопчут. Утром он дважды перевязал кушак, потому что в первый раз узел вышел кривой. Потом долго искал рукавицы, которые лежали на сундуке, у него перед глазами. Ибрагим, сидевший на лавке у двери, смотрел на это молча и ел Акулинину пареную репу из горшка, хотя его никто не угощал.

— Ты ж не венчаться идёшь, Тимофей Андреевич, — сказал он наконец.

— Я иду воду святить.

— Вода и без тебя освятится. — Ибрагим облизал ложку.
— Митрополит освятит. Он своё дело знает.

— А ты зачем идёшь?

— Я крещёный, — с достоинством сказал Ибрагим. — Мне положено.

Ершов знал, что Ибрагим крещёный, и знал, что Ибрагиму положено, и знал также, что за всю осень Ибрагим не был ни у одной обедни. Но спорить не стал. Он нашёл наконец рукавицы, надел их, снял, сунул за пояс и вышел. Акулина догнала его в сенях и сунула ему в руки кувшин, глиняный, с отбитым носиком.

— Святой воды принесёшь, — сказала она. — Кувшин новый.

Мороз был такой, что в сенях у Акулины звенела вода в кадке, когда её задевали ковшом. Над посадом стояли прямые столбы дыма, все до одного, ни один не клонился, и небо было белое, ровное, будто его выскоблили. Снег скрипел под ногами так громко, что разговаривать на ходу приходилось вполголоса: иначе казалось, что кричишь.

Весь посад шёл к реке.

Шли семьями, с детьми на руках и на загривках, с кувшинами, с вёдрами, с горшками, с бутылками, обмотанными тряпками, чтобы не лопнули на морозе. Шли стрельцы в праздничных кафтанах, с бердышами, поставленные держать народ. Шли старухи, которых вели под руки внуки, и внуки по дороге норовили удрать к ледяной горке у Кабана. Шли татары из слободы, не к Иордани, а посмотреть, и стояли потом на берегу кучкой, в лисьих шапках, переговариваясь и показывая пальцами. Ершов шёл среди всех этих людей в вычищенной шубе и чувствовал себя так, будто его тоже кто-то ведёт под руку.

Он не знал, где она будет стоять. «Ну, и я пойду», — сказала Аграфена Петровна на Святках и больше ничего не сказала: ни где, ни когда, ни с кем. Ибрагим тогда объяснил, что так зовут. Ершов всю неделю думал, правильно ли Ибрагим объяснил, и спросить больше было некого. Не Акулину же.

Иордань рубили на Казанке, ниже Кремля, там, где река

расширялась перед устьем и лёд стоял толстый, ровный, синеватый. Её прорубили накануне: крест во льду, длинный, в рост человека, с поперечиной, и края у него были обколоты ровно, по-плотнически. Над прорубью из глыб того же льда поставили ещё один крест, высокий, и полили водой, чтобы схватился, и теперь он стоял прозрачный, с зелёным нутром, и солнце, едва поднявшись над Арским полем, светило сквозь него, как через бутыль. Вокруг проруби была расчищена площадка, обнесённая ельником. Народ стоял за ельником в несколько рядов, дальше по всему льду, на берегу, на крышах ближних амбаров.

Ершов остановился у края толпы и стал смотреть по сторонам. Ибрагим отстал ещё на берегу: встретил какого-то знакомого, а знакомые у Ибрагима были везде, и с каждым надо было поговорить.

— Тимофей Андреевич!

Ершов обернулся с надеждой и тут же понял, что надеялся зря.

К нему через толпу пробиралась Марфа Кузьминишна, раздвигая людей локтями, как раздвигают камыш. За ней, держась за её шубу, шла женщина в лисьей шапке, румяная от мороза, крепкая, с прямым тяжёлым взглядом.

— Вот и он, — сказала Марфа, подойдя и не дав ему опомниться. — Тимофей Андреевич, московский. А это Анисья Фёдоровна, Кузьмы Глотова вдова, стрелецкого пятидесятника. Я тебе сказывала.

Анисья Фёдоровна поклонилась, не опуская глаз. Ершов поклонился тоже.

— Сказывала, — сказал он. — Только я думал...

— Что ты думал, то ты потом скажешь, — сказала Марфа. — А сейчас стой. Крестный ход пойдёт, потом воду святить, потом пить, потом домой. А домой по пути. — Она значительно посмотрела на вдову, потом на Ершова. — Анисья Фёдоровна пирогов напекла.

— С чем? — зачем-то спросил Ершов.

— С визигой, — ответила вдова. Голос у неё был низкий и спокойный. — И с рыбой. Постные. Сочельник вчера был.

— Вчера, — согласился Ершов.

Больше говорить было не о чем. Марфа встала между ними, взяла обоих под руки, как берут двух коз, чтоб не разбежались, и все трое стали смотреть на берег, откуда должен был показаться крестный ход.

Аграфену Петровну Ершов увидел, когда ударили колокола.

Ударили сначала в Благовещенском соборе, потом подхватили все кремлёвские церкви, потом посадские, и над рекой поплыл такой звон, что у Ершова заложило уши, а мужики разом сняли шапки, и пар от непокрытых голов поднялся над толпой, как от стада. В эту минуту он её и увидел. Она стояла по другую сторону проруби, у самого ельника, в тёмном платке, повязанном низко, по-праздничному. Рядом с ней стоял её рябой приказчик с кувшином. Она смотрела

не на берег, откуда спускался ход, а через прорубь. На него. И на Марфу. И на Анисью Фёдоровну под Марфиной рукой.

Потом она отвернулась к берегу и больше не поворачивалась.

— Ну вот, — тихо сказал Ершов.

— Что? — спросила Марфа.

— Ничего. Звонят.

Крестный ход спускался с берега долго: хоругви, иконы, певчие, у которых пар шёл из ртов вместе с пением, священники в ризах поверх шуб, митрополит под руки, в золотой ризе. За ними воевода Бутурлин, в шубе до пят, в высокой шапке, которую он снял, ступив на лёд, и с непокрытой головой сразу сделался меньше и старше. За воеводой дьяк, за дьяком губной Фрол Игнатьевич, красный, в праздничном кафтане, туго подпоясанный, с таким выражением лица, будто его привели на правёж. Ход вошёл за ельник и встал вокруг проруби. Пение стихло.

Митрополит читал долго. Ершов почти ничего не слышал: на таком морозе голос уходил вверх, как дым, и до задних рядов долетали только обрывки. Он стоял, держа шапку в руке, чувствовал, как стынут уши, и смотрел, как митрополит трижды опускает в прорубь крест. Вода в проруби была чёрная, густая, неподвижная, и над ней поднимался пар.

Потом все кинулись к воде.

Стрельцы держали народ, но держали недолго. Ельник повалили. Люди лезли к проруби с кувшинами и вёдрами, чер-

пали, плескали на себя, на детей, пили из горстей. Какая-то старуха плеснула себе за ворот и взвизгнула, как девка, и во-круг засмеялись.

Ершова оттеснили от Марфы. Он оказался в стороне, у ледяного тороса, и с облегчением понял, что Анисья Фёдоровна тоже далеко и смотрит в другую сторону. Он поискал глазами Аграфену. Её не было видно. Он пошёл вдоль толпы, не к проруби, а по краю, туда, где она стояла, и через десяток шагов остановился, потому что дальше по льду стоял человек, на которого никто не смотрел.

Человек стоял шагах в двухстах ниже по реке, у самого берега, где лёд был не расчищен и снег лежал по колено. Он стоял, наклонившись над чем-то во льду, и тянул. Тянул, упираясь ногами, откидываясь назад, перебирая руками, и было видно, что тянет он что-то тяжёлое и что одному ему не под силу. Он оглянулся на толпу, будто хотел крикнуть, и не крикнул. Снова стал тянуть.

Ершов постоял, глядя на него. Потом пошёл туда.

Это был рыбак. Невысокий, жилистый, в драном тулупе, подпоясанном верёвкой, в лаптях поверх онуч, без рукавиц. Лицо у него было опухшее, серое, с красными глазами, и от него тянуло вчерашним так, что Ершов, подойдя, невольно отвернулся. Перед рыбаком во льду была майна, небольшая, в два шага, только что прорубленная заново: края у неё были свежие, белые, в осколках. Пешня лежала рядом на снегу. Из майны в руки рыбака шла верёвка, мокрая, обледенелая, а

дальше, под водой, видна была сеть.

— Помочь? — спросил Ершов.

Рыбак посмотрел на него, на шубу, на кушак, и ничего не ответил. Снова потянул.

— Тяжело, — сказал он наконец сквозь зубы. — Зацепилась. За корягу, видно. Или сом.

— Сом?

— Бывает. — Рыбак потянул ещё. — Бывает, под Крещение сом в сеть идёт. Старики рассказывают.

Ершов поставил Акулинин кувшин на снег, снял рукавицы, сунул их за пояс и взялся за верёвку рядом с рыбаком. Верёвка была ледяная, такая, что пальцы сразу перестали чувствовать. Только рубец на правой ладони, розовый, ещё тонкий, чувствовал всё: он натянулся на первом же рывке и занял так, будто баня была вчера. Ершов перехватил верёвку, взял правой пониже, ребром ладони, а тянуть стал больше левой. Они потянули вдвоём. Сеть пошла, медленно, тяжело, будто к ней снизу кто-то держался.

— Ты чего ж в праздник? — спросил Ершов, переводя дух.

— А того. — Рыбак сплюнул. — Ставил на третий день. Глядел в Святки, на пятый. С тех пор не глядел. — Он помолчал и признался: — Гуляли. А нынче проснулся, вспомнил: сеть-то у меня тут, возле Иордани. Народу будет — до лета. Кто пешнёй ткнёт, кто ногой проломит, кто ведро опустит. Утащат. Думал, до хода успею. — Он снова сплюнул.

— Не успел.

— Как звать?

— Савка. Савва Лукин. С Бакалды.

Они потянули снова. Из майны показалась мотня сети, набрякшая, в льдинках, и в мотне блеснула рыба, несколько окуней и плотва, бьющиеся на морозе. Савка выругался, с облегчением, будто рыба была не та, которую он боялся увидеть. А потом сеть пошла вверх, и над краем майны, вместе с ледяной водой, перевалилось что-то тёмное, большое, обмотанное ячеей.

Савка выпустил верёвку.

Ершов не выпустил. Он держал, и сеть, натянутая теперь одной его левой рукой, медленно поползла назад в воду, и тогда он взялся обеими, всей ладонью, не думая, и потянул изо всех сил, упираясь в снег. Рубец будто разошёлся. Он не разжал руку и вытянул то, что было в сети, на лёд.

Это был человек.

Он лежал лицом вниз, в ячее, как в мешке, и сеть врезалась в него, в спину, в плечи, в подогнутые ноги. Кафтан на нём был тёмный, сукно доброе, набрякшее водой. Сапоги. Шапки не было. Волосы смёрзлись в одну корку. Правая рука была вывернута за спину и запуталась в сети так, что пальцы торчали сквозь ячею: короткие, толстые, с чернотой, въевшейся под ногти и в складки кожи, как у кузнеца.

Савка крестился и не мог остановиться.

— Я не знал, — говорил он. — Батюшка, я не знал. Я сеть

ставил, никого не было. Я на пятый день глядел, никого не было. Я не знал.

— Верю, — сказал Ершов.

Он присел на корточки у тела. Сзади кто-то закричал. Потом ещё кто-то. Потом от толпы у Иордани отделились первые люди и побежали к ним по льду, проваливаясь в снег, и за ними ещё, и через минуту вокруг майны стояли уже десятки, а через пять — сотни. Кто-то завыл. Кто-то сказал: «Утопленник». Кто-то: «В Иордань подкинули». Кто-то: «Знамение». Мальчишки лезли между ногами, чтобы посмотреть, их оттаскивали за шиворот. Двое стрельцов с бердышами пробивались через толпу, крича, чтобы расступились.

Ершов не вставал. Он смотрел на затылок мёртвого. На затылке, под смёрзшимися волосами, было тёмное пятно. Он хотел дотронуться, не стал.

Следом за стрельцами, расталкивая народ, пришёл губной.

Фрол Игнатьевич был всё такой же красный, в праздничном кафтане, только теперь без шапки: шапку он держал в руке и, видно, забыл надеть после хода. Он протолкался к майне, посмотрел на тело в сети, на Савку, который всё крестился, потом на Ершова, сидевшего на корточках. Лицо у губного сделалось такое, будто у него заболел зуб.

— Ты, — сказал он.

— Я, — согласился Ершов.

— Ты как тут?

— Мимо шёл.

Губной долго молчал. Потом надел наконец шапку и тоже присел на корточки, тяжело, со вздохом, по другую сторону тела. Посмотрел на сеть, на пальцы, торчащие сквозь ячею. Посмотрел на затылок.

— Утоп, — сказал он неуверенно. — Пьяный. На Святках. Ходил по льду, провалился. Сеть его держала. — Он помолчал. — Так?

Ершов не ответил.

— Так ведь бывает, — сказал губной. — На Святках каждый год кто-нибудь. Прошлый год двое. — Он снова помолчал и вдруг сказал совсем другим голосом, тихо, чтобы не слышали стрельцы: — Тимофей Андреевич. Ты посмотри. Ты сам посмотри. Я... — Он запнулся. — Я писать не стану, пока ты не посмотришь. Хватит с меня. Одного раза.

Ершов поднял на него глаза. Губной смотрел на тело, не на него.

— Его надо из сети вынуть, — сказал Ершов. — Здесь. При людях. Чтоб видели, что при нём было.

Губной кивнул и велел стрельцам. Стрельцы, морщась, стали резать сеть ножами. Савка охнул: «Сеть-то», — но никто на него не посмотрел. Сеть резали долго, ячея обледенела и не поддавалась, нож соскальзывал. Наконец тело освободили и перевернули на спину.

Лицо было не старое. Лет сорок, может, меньше. Широ-

кое, плоское, с короткой бородой, тоже смёрзшейся. Глаза закрыты. Распухшее от воды, но не сильно: зимняя вода сохраняет. Кто-то в толпе сказал: «Не наш». Кто-то: «Не казанский». Кто-то: «Москвич, по кафтану». Кафтан и правда был московского покроя, с высоким воротом, с частыми пуговицами, оловянными. Ершов такие видел у себя в приказе каждый день и не замечал, а тут заметил.

На поясе у мёртвого висел кошель.

Кожаный, тёмный, туго набитый, затянутый ремешком и ещё перевязанный поверх бечёвкой. Губной посмотрел на кошель, потом на Ершова. Ершов кивнул. Губной отвязал кошель, долго возился с бечёвкой, которая смёрзлась в узел, наконец перерезал её ножом. Развязал ремешок. Заглянул.

Он высыпал содержимое себе на ладонь, и толпа вокруг подалась вперёд.

Это были не деньги. То есть деньги, но не россыпью: в кошеле лежали два узелка. Каждый в своей тряпице, туго завязанный. Один в холщовой, серой. Другой в льняной, белой когда-то, а теперь бурой от воды. Узелки были почти одинаковые по величине, только серый немного больше.

Губной развязал серый.

— Медь, — сказал он.

В узелке лежали медные копейки. Ершов взял одну. Копейка была новая, совсем новая, неистёртая. Края у неё были кривые, как у всякой копейки, будто её не чеканили, а отщипнули от проволоки, но рисунок стоял чёткий, и она

блестела красным, как начищенный котёл. На одной стороне всадник с копьём, на другой — надпись, буквы ровные, глубокие. Ершов повертел её в пальцах. Такую копейку ему выдали в кормовых на Святках, и не одну. Только те были потёртые, тусклые, побывавшие во многих руках.

Губной развязал белый. Там тоже лежали медные копейки. Такие же. Новые, красные, неистёртые. Ершов взял одну и из этого узелка и положил рядом с первой на свою ладонь. Две копейки лежали рядом. Он смотрел на них долго и не видел никакой разницы.

— Зачем ему два? — спросил губной.

— Не знаю.

— Деньги — они и есть деньги, — сказал губной. — Сыпь в один кошель. Зачем узлами?

— Не знаю, — повторил Ершов.

Он вернул копейки в узелки, каждую в свой. Губной завязал узелки, положил в кошель, кошель сунул за пазуху и застегнул кафтан. Потом поднялся, кряхтя.

— Отнесём в губную, — сказал он. — А там поглядим. — Он посмотрел на Ершова сверху. — Поглядишь?

— Погляжу.

Губной ещё постоял, будто хотел сказать что-то, но только махнул стрельцам. Стрельцы принесли откуда-то рогожу, положили на неё тело, взялись вчетвером за углы и понесли к берегу. Толпа расступалась перед ними, люди крестились, бабы причитали. Савка шёл следом, держа в руках изрезан-

ную сеть, и всё повторял, ни к кому не обращаясь, что он не знал.

Ершов встал. Колени у него затекли, руки не гнулись от мороза. Он посмотрел на правую ладонь. Рубец не разошёлся, только побелел по краям и горел. Он достал из-за пояса рукавицы и долго не мог надеть правую.

Рядом оказался Ибрагим. Ершов не видел, когда он подошёл. Ибрагим смотрел вслед рогоже.

— Москвич, — сказал он.

— Похоже.

— Савка говорит, на пятый день Святки сеть глядел — пусто было, — сказал Ибрагим. — Значит, после. А когда после — кто его знает. Неделя прошла. — Он помолчал. — Кто-то и ходил по льду. — Он ещё помолчал. — Нынче у Иордани весь город. Кто ходил, тот, верно, тоже тут.

Ершов посмотрел на толпу. Люди уже расходились от майны и снова тянулись к Иордани, к воде, к своим кувшинам и вёдрам. Праздник продолжался. Звонили колокола. Ершов искал глазами Аграфену Петровну. Её не было. Он искал Марфу. Марфа стояла у берега, руки в бока, и смотрела прямо на него. Рядом никого не было.

Он пошёл к ней по льду, сам не зная зачем.

— Ушла, — сказала Марфа, когда он подошёл.

— Кто?

— Анисья Фёдоровна. — Марфа поджала губы. — Сказала: я, говорит, Марфа Кузьминишна, за стрельцом жила две-

надцать лет, покойников навидалась. А чтоб жених на смотринах от меня к утопленнику ушёл — такого не было. — Она покачала головой. — Второй раз, Тимофей Андреевич. Второй раз тебе покойник дороже живой бабы.

Она вздохнула, повернулась и пошла к берегу, проваливаясь в снег. Через несколько шагов обернулась: — К Масленой зайду. Ты к Масленой утопленников не ищи.

Ершов стоял на льду. Руки у него всё ещё не гнулись. Ибрагим подошёл и встал рядом.

— Это ты её за что? — спросил Ибрагим.

— Кого?

— Вдову.

— Я не её, — сказал Ершов. — Я сеть тянул.

— А, — сказал Ибрагим. Он подумал. — Марфе я тогда за эту ничего не должен. Раз ушла.

— Ты её Марфе и не называл.

— Не называл, — согласился Ибрагим. — А она всё одно спросит.

Он пошёл к берегу. Ершов постоял ещё, потом пошёл следом. Уже у самого берега он оглянулся на Иордань. Ледяной крест стоял над прорубью, и солнце светило сквозь него. У проруби было по-прежнему тесно. Рябой приказчик Аграфены Петровны стоял у самой воды и черпал кувшином. Один. Ершов долго смотрел на него. Приказчик зачерпнул, поднял кувшин, поглядел на свет, вылил обратно, зачерпнул снова, поглядел опять. Видно, искал, чтобы без льдинок.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Своим небрежением

В губной избе было натоплено так, что у Ершова, едва он вошёл с мороза, потекло из носа.

Тело положили на лавку у дальней стены, на рогоже, и оно оттаивало. С кафтана капало на пол, под лавкой натекла лужа, и в луже отражалось маленькое окно. Сторож, старик в стоптанных сапогах, ходил вокруг с ветошью и вытирал пол, ворча, что губная изба не баня и не портомойня, и что после Крещения тут ещё святить надо будет, а кто святить станет, он не знает. Губной сидел за столом и молча смотрел на кошель, который лежал перед ним, нераскрытый.

Дьячка не было. Дьячок отпросился на праздник с утра, и губной послал за ним мальчишку, но мальчишка вернулся один: дьячок у тёщи, а тёща живёт за Булаком, а за Булаком сегодня гуляют, и дьячок сказал, что придёт, как только сможет, и мальчишка по голосу понял, что не скоро.

— Ну и ладно, — сказал губной. — Без него.

Ершов снял шубу, повесил на гвоздь, подумал и снял кафтан тоже. Остался в рубахе. Подошёл к лавке.

Утопленник лежал на спине, как его положили, с вытянутыми руками. Борода оттаяла и обвисла, волосы тоже. Лицо было теперь не серое, а синеватое, с жёлтыми пятнами на скулах. Глаза закрыты. Рот приоткрыт, и видно было, что спереди не хватает одного зуба, а соседний сколот. Ершов

долго смотрел на этот рот, на этот зуб, будто зуб мог что-то сказать. Потом попросил сторожа помочь, и вдвоём они перевернули тело на бок.

На затылке, под мокрыми волосами, была рана. Ершов раздвинул волосы. Кожа была рассечена коротко, на палец, края разошлись и побелели от воды. Под раной, когда он осторожно надавил, пальцы почувствовали углубление, будто кость там ушла внутрь. Какое оно, широкое или узкое, ровное или с краем, он не понял. Понял только, что оно есть.

Он отнял руку и вытер пальцы о рубаху. Потом вспомнил, что рубаха чистая, Фёкла принесла её в субботу, и посмотрел на пятно с досадой.

— Ну? — спросил губной из-за стола.

— Ударили, — сказал Ершов.

— Об лёд, — сказал губной. — Шёл пьяный. Поскользнулся. Упал навзничь. Затылком об лёд. Лёд-то твёрдый.

— Лёд ровный, Фрол Игнатьевич. Об ровное бьются плашмя. Тогда шишка, или кожа лопнет. А тут ямка. Будто камнем. Или обухом.

— Или об торос, — сказал губной. — Торосов на Казанке нынче — что пней в лесу. Один острый, другой круглый. Упал на круглый.

Ершов посмотрел на него. Губной смотрел на кошель.

— Может, и на торос, — сказал Ершов.

Это была правда. Он не знал, обо что ударился этот человек и ударился ли сам. Он знал, что рана на затылке, а не на

лбу, и что под ней ямка. Больше ничего. Он сел на край лавки, рядом с мёртвым, и стал смотреть на него так, как смотрел когда-то на чужие бумаги в своём столе: сверху вниз, по порядку, ничего не пропуская.

Кафтан тёмно-синий, сукно доброе, не немецкое, своё, но плотное. Покрой московский. Подкладка крашенина, синяя, выцвела под мышками. Пуговицы оловянные, двенадцать, одной нет: оторвана с нитками, давно, нитки уже обтрепались. Пояс кушачный, шерстяной, красный. На поясе кошель, который теперь у губного на столе. Рубаха холщовая, ворот вышит красным, кривовато. Порты. Сапоги, не новые, но крепкие, подбитые, с железными подковками на каблуках. Чулки шерстяные. Шапки нет.

На шее крест, медный, простой, на гайтане. Ершов поднял его, повернул. На обороте ничего.

Он ощупал кафтан, всё, что можно было ощупать. Карман был один, внутренний, слева. В кармане лежала деревянная ложка, кленовая, с обломанным краем черенка. Больше ничего. Ершов вынул ложку, оглядел, положил на лавку. За голенищем правого сапога было пусто. За голенищем левого тоже.

— Ни бумаги, — сказал губной, — ни проезжей, ни памяти. Как звать — не знаем. Откуда — не знаем. Чей — не знаем.

— Москвич.

— По кафтану москвич. Кафтан и казанский человек ку-

пит, коли деньги есть.

— По зубу москвич.

Губной поднял брови.

— Чего?

— Ничего, — сказал Ершов. — Так.

Он и сам не знал, почему сказал про зуб. Наверно, потому что в Разбойном приказе у дьяка Посникова был сторож с таким же зубом, сколотым спереди, и сторож этот рассказывал, что зуб ему сбили на Масленой, в кулачном бою на Москве-реке, стенка на стенку. И Ершову теперь казалось, что и этот, на лавке, ходил когда-то на лёд биться стенка на стенку, только на Москве-реке, а не на Казанке. Это было глупо, и он больше не говорил.

— Руки, — сказал он.

Губной подошёл. Они оба посмотрели на руки мёртвого. Руки оттаяли и лежали теперь на рогоже, короткие, толстопалые, с широкими ногтями. Под ногтями, в складках кожи, на костяшках была чернота, въевшаяся так, что вода её не взяла. На правой ладони у основания пальцев твёрдые мозоли, жёлтые, как роговая пуговица. На левой ладони мозолей не было, зато на запястье белел старый рубец, длинный, неровный, какой бывает от ожога.

Ершов невольно глянул на свою правую ладонь. Губной заметил и отвернулся.

— Кузнец, — сказал губной.

— Может, кузнец.

— Или медник. Или котельник. Или литейщик. Мало ли кто у огня работает.

— Мало ли, — согласился Ершов.

Губной вернулся за стол, сел и наконец развязал кошель.

Они считали медь вдвоём, при стороже, потому что дьячка не было, а без послуха губной считать не хотел. Сторож стоял у стола, держа в руках ветошь, и смотрел на медь так, будто ему её показывали в последний раз.

Сначала серый узелок. Губной высыпал его на стол, и копейки раскатились по доскам, красные, неистёртые, и одна упала на пол и закатилась под лавку, в лужу. Сторож полез за ней, кряхтя, достал, вытер о ветошь и положил обратно. Губной стал считать, двигая копейки пальцем по десять, и шевелил губами. Ершов считал за ним.

— Сто сорок, — сказал губной.

— Сто сорок, — сказал Ершов.

Белый узелок. Опять на стол, опять по десять.

— Сто двадцать.

— Сто двадцать.

— Два рубля двадцать алтын, — сказал губной и откинулся на лавке. Помолчал. — Мне за губную, Тимофей Андреевич, никто копейки не даёт. Двадцать лет. Выбрали — и служи. А тут два рубля с лишком у пьяного на поясе. Медью.

— Двадцать алтын, — повторил Ершов.

— Чего?

— Ничего. Я раз книжку за двадцать алтын купил. Про

немцев.

Губной посмотрел на него долго, тяжело, но ничего не сказал. Видно, слышал. Весь посад слышал.

Ершов взял из каждой кучки по копейке и положил рядом на ладонь, как утром на льду. Потом ещё по одной. Потом ещё. Шесть копеек, по три от каждой. Он поднёс их к окну, к свету. Всадник с копьём. Надпись. Края кривые, как у всех. Одна чуть больше, другая чуть меньше, но так бывает и с одной кучкой. Одна чуть краснее, другая чуть темнее, но и это так бывает. Он перевернул, посмотрел надписи, буква за буквой, сколько мог разобрать: царь, и великий князь, и Алексей, и Михайлович, и всея Руси, и на каждой копейке надпись влезла не вся, на одной обрезан конец, на другой начало, на третьей середина ушла за край.

— Ну? — спросил губной.

— Одинаковые.

— Я и говорю. — Губной сгрёб медь обратно в кучки, каждую к своей тряпице. — Деньги и деньги. Чего он их по узлам вязал — его дело. Может, одни свои, другие хозяйские. Может, одни на дорогу, другие домой везти. Может, одни долг отдать. Мало ли.

— Мало ли, — сказал Ершов.

Он смотрел на тряпицы. Серая холщовая была обрезком мешка: край у неё был ровный, кромочный, с одной стороны, а с другой оборванный. Белая, вернее бурая, льняная, тоньше, мягче, с вышитым краешком, будто от полотенца.

Узлы на обеих губной вязал сам, ещё утром на льду, и теперь развязывал снова; какими они были до него, никто уже не скажет.

— Он их разделил, — сказал Ершов.

— Кто?

— Он. Или кто до него. — Ершов кивнул на две кучки.

— Сел и разделил. Сто сорок в мешковину, сто двадцать в полотенце. Деньги одинаковые, а лежат порознь.

— И что?

— Не знаю, — сказал Ершов.

Он попросил у губного бумаги. Губной посмотрел на него, на пустое место дьячка, вздохнул и достал из ящика лист и чернильницу. Ершов сел на дьячково место и стал писать, медленно, держа перо низко, как теперь привык: что тело вынуто из Савкиной сети у майны ниже Иордани, при людях; что на затылке рана, кожа рассечена на палец, а под раной углубление; что при теле крест медный, ложка кленовая, кошель кожаный, а в кошеле два узелка, в сером сто сорок копеек, в белом сто двадцать, всего два рубля двадцать алтын, медью, новыми. Приметы: зуб, мозоли, рубец на левом запястье, чернота под ногтями. Писал, не торопясь, ничего не пропуская. Потом перечёл вслух при стороже и при губном.

— Руку приложи, — сказал он сторожу.

— Я не умею, — сказал сторож.

— Крест поставь.

Сторож поставил крест, кривой, с кляксой, и долго дул на

него. Губной смотрел на лист, не протягивая к нему руки.

— Это не запись, — сказал он наконец. — Это тебе на память.

— Мне на память, — согласился Ершов. Сложил лист и убрал за пазуху.

Губной завязал узелки, положил в кошель и затянул ремешок. Потом посидел, глядя на кошель.

— Дьяк присылал, — сказал он, не поднимая глаз. — Пока ты на рану глядел. Мальчишку. Велел сказать: писать, что утоп пьяный, на Святках, своим небрежением, а имени не сыскано, а тело в убогий дом.

Ершов ничего не ответил. Губной посмотрел на него снизу.

— Я не пишу, — сказал губной. — Видишь, не пишу. Дьячка нет. — Он помолчал. — А дьячок придёт. Не нынче, так завтра. И дьяк спросит.

— Фрол Игнатьевич. Дай мне три дня.

— Три дня, — сказал губной. — А ты за три дня скажешь, кто его по затылку? Или что сам упал?

— Скажу, кто он такой. А там видно будет.

Губной тяжело встал, подошёл к лавке и встал над мёртвым, как над больным.

— Не сыщется, чей, — сказал он, — в убогий дом. До Семика. На Семик всех убогих вместе хоронят, кто за зиму. — Он помолчал. — Лежать ему там до весны в яме, под рогожей, с нищими да с замёрзшими, без имени. А у него, может,

жена на Москве. Ждёт.

Ершов посмотрел на губного с удивлением. Губной заметил его взгляд и побагровел.

— Я к тому, что лучше сыскать, — буркнул он. — Порядку больше.

— Три дня, — повторил Ершов.

— Три дня, — сказал губной. — И кошель у меня будет. Под замком. Ты не обижайся.

— Не обижаюсь.

— Тебе такие деньги тоже не каждый день дают, — сказал губной и вдруг усмехнулся, впервые за весь день, криво, одной стороной. — Медью.

Ибрагим ждал на крыльце губной избы. Он сидел на ступеньке, засунув руки в рукава, и смотрел, как на улице мальчишки катают по снегу ледяной ком.

— Ну что? — спросил он.

— Ударили по затылку. Или сам упал. Два рубля двадцать алтын. Москвич, мастеровой, у огня работал. Имени нет. — Ершов застегнул шубу. — Москвичей на посаде много?

— На Святках? — Ибрагим подумал. — Торговые есть. Кто с осени застрял, кто санным путём приехал. С Москвы обоз приходил в Филиппов пост. Большой. Саней двадцать. — Он почесал бороду. — На Сысоевом дворе стоят. За Гостиным. Сысой Ермолаев держит, постоянный.

— Чей обоз?

— Не знаю. Московский. Торгового человека какого-то.

Приказчик при нём. — Ибрагим помолчал. — Сысой говорил на Святках у Мустафы, что постояльцы смиренные, платят серебром и в срок. Сысой довольный был. Мустафа ему завидовал.

— Мустафа всем завидует.

— Мустафа всем завидует, — согласился Ибрагим. — А Сысою больше. Сысою серебром платят.

Ершов постоял на крыльце. Над посадом стоял колокольный звон, не такой, как утром, а праздничный, вразнобой, кто во что горазд. По улице шли люди с Иордани, с кувшинами, с ведрами, несли святую воду домой, осторожно, чтобы не расплескать, и от ведер шёл пар.

— Пойдём к Сысою, — сказал Ершов.

— Нынче? — Ибрагим посмотрел на него, как на больного. — Нынче Крещение. Сысой пьяный с обеда. Постояльцы пьяные. Приказчик, может, тоже. Кто тебе нынче что скажет?

— Пьяные лучше говорят.

— Пьяные лучше врут, — сказал Ибрагим. — А помнят хуже. Завтра. С утра. Пока Сысой не опохмелился. Он тогда злой, а злой — честный.

Ершов подумал и согласился.

Они пошли вместе до угла. Улица выходила к торгу, и у торга, на углу, стояла лавка Аграфены Петровны. Лавка была заперта, ставни закрыты, на воротах замок. Праздник. Ершов замедлил шаг, сам того не заметив, и Ибрагим тоже за-

медлил, и посмотрел на ставни, потом на Ершова.

— Заперто, — сказал Ибрагим.

— Вижу.

— Праздник.

— Вижу, — сказал Ершов и пошёл быстрее.

У Акулины было темно и холодно: печь с утра не топили, потому что праздник, а в праздник Акулина не топила, только на ночь. Сама Акулина сидела на лавке в своей половине, в шубе, и пила из кружки что-то горячее, от чего шёл пар и пахло мёдом и перцем. Увидев Ершова в дверях, она поставила кружку.

— Святой воды принёс? — спросила она.

Ершов остановился. Он не принёс. Акулинин кувшин он поставил на снег у майны, когда снимал рукавицы. Там, видно, и оставил.

— Не принёс, — сказал он.

— А кувшин?

— Кувшин... — Ершов подумал. — Кувшин на льду.

Акулина долго смотрела на него. Потом встала, ушла в сени, вернулась с ковшом, полным воды. Вода была холодная, с ледком по краю.

— Моя, — сказала она. — Вчера в Николе святили, в Сочельник. Я и взяла. Мало ли, думаю, что ты принесёшь. — Она подала ему ковш. — Пей. Три глотка. С молитвой.

Ершов выпил три глотка. Вода была такая холодная, что заломило зубы.

— Спасибо, Акулина.

— Кувшин, — сказала Акулина, забирая ковш, — три деньги. Новый. Не принесёшь завтра — в счёт поставлю.

— Принесу.

— Серебром, — сказала Акулина и ушла в свою половину.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Москвичи

Сысоев двор стоял за Гостиным, в переулке, который упирался в Булак, и был такой большой, что Ершов сначала принял его за чей-то монастырский. Высокий тын, ворота под двускатной кровлей, а за воротами двор, на котором уместилась бы половина Акулининой улицы: конюшня на тридцать лошадей, сенные сараи, два амбара, колодец с журавлём, баня, людская изба и хозяйские хоромы в два жилья, с гульбищем по второму. Весь двор был заставлен санями. Сани стояли рядами, оглоблями вверх, с рогожами поверх поклажи, перевязанные верёвками, и между рядами ходили люди, носили сено, носили воду, кололи дрова, и от лошадей, от людей и от навоза над двором стоял пар.

Ворота были открыты. Ершов вошёл, Ибрагим за ним.

Сысоя Ермолаева они нашли у колодца. Это был мужик лет пятидесяти, огромный, рыхлый, в одной рубаше и в овчинной безрукавке, босой в опорках, с лицом таким помятым, будто его всю ночь катали по полу. Он стоял у колодезного сруба, держал обеими руками бадью с ледяной водой и пил прямо из неё, долго, мерно, как лошадь, и вода текла у него по бороде и замерзала на безрукавке.

Ибрагим подошёл, поздоровался по-татарски, потом по-русски. Сысой оторвался от бадьи, посмотрел на Ибрагима, потом на Ершова, и глаза у него стали совсем маленькие.

— Московский, — сказал он. — Сыщик.

— Он, — сказал Ибрагим.

— Слыхал. — Сысой вылил остаток воды себе на голову, отфыркался и вытер лицо рукавом. — Чего надо?

— Обоз у тебя стоит. Московский.

— Стоит.

— Человек из обоза пропал?

Сысой не ответил сразу. Он поставил бадью на сруб, долго ставил, поправлял, чтоб не свалилась.

— Это ты не меня спрашивай, — сказал он наконец. — Это ты приказчика спрашивай. Я ему не сторож. Я двор держу. Кто приехал, кто уехал, кто сколько сена взял, кто за постой заплатил — это я знаю. А кто куда ночью ходит — не моё дело.

— Ночью, — повторил Ершов.

Сысой поглядел на него с досадой, как на человека, который поймал его на слове не тогда, когда надо.

— К слову, — сказал он. — Ночью, днём. Приказчика спрашивай. Корнило Сыромятников. Вон хоромы, наверху. Он с утра трезвый, — добавил он вдруг, с завистью. — Он всегда с утра трезвый.

Корнило Сыромятников спустился сам. Видно, увидел их из окна. Он сошёл по лестнице с гульбища неторопливо, держась за перила, и пошёл через двор к колодцу, обходя сани, и по тому, как перед ним расступались обозные люди, было видно, кто тут хозяин.

Он был лет тридцати пяти, невысокий, плотный, с аккуратной русой бородой, подстриженной коротко. Кафтан на нём был добрый, тёмно-зелёный, застёгнутый на все пуговицы, шапка куньим мехом. Лицо спокойное, приветливое, с ясными светлыми глазами, и такой лёгкой складкой у рта, будто он всё время чуть улыбается чему-то своему. Подойдя, он снял шапку и поклонился Ершову, не низко и не высоко, а ровно как надо, как кланяется торговый человек приказному.

— Тимофей Андреевич, — сказал он. — Знаю. Здравствуй.

— Откуда знаешь?

— Как не знать. — Корнило улыбнулся. — Мы перед Николиным днём пришли. А потом на торгу только и разговору было: московский сыщик Лаврентия Ильича до плахи довёл. Я ещё подумал: вот, думаю, земляк. Хотел зайти, поклониться. Да всё дела. — Он надел шапку. — Ты ко мне, верно, про Афанасия.

Ершов помолчал.

— Про какого Афанасия?

— Рябова. Афанасия Рябова. Нашего. — Корнило перестал улыбаться. — Мне вчера Сысоевы ребята сказали, что у Иордани утопленника вынули. Москвича, по кафтану. Я, грешный, сразу подумал. А пойти побоялся. Праздник, думаю, губная заперта, кто меня пустит. — Он перекрестился. — Он?

— Пойдём, посмотришь, — сказал Ершов.

— Пойдём, — сказал Корнило. — Сейчас. Только шубу надену.

Он ушёл к хоромам. Сысой у колодца смотрел ему вслед, потом на Ершова.

— Говорил я, — сказал Сысой. — Трезвый.

До губной избы шли втроём. Корнило шёл рядом с Ершовым, Ибрагим чуть сзади. Корнило говорил. Говорил он хорошо, спокойно, без суеты, складно, как говорят люди, которые привыкли объяснять хозяину, куда ушли деньги.

Обоз был хозяйский. Хозяин — гостиной сотни торговый человек Василий Терентьевич Голованов, московский, с Покровки. Сам хозяин на Москве, а Корнило у него приказчиком двенадцатый год. Обоз пришёл в Казань перед Николиным днём, санным путём, через Нижний, Чебоксары и Свияжск. Привезли сукно, железо, бумагу писчую, иглы, зеркальца, всякий московский товар. Здесь продавали, а на выручку брали своё, казанское: соль, рыбу солёную, икру, кожи, мёд. К Масленой хотели назад, на Москву. А теперь — он развёл руками — теперь не знает, как и быть.

— А Рябов? — спросил Ершов. — Он кто? Тоже приказчик?

— Нет. — Корнило покачал головой. — Афанасий мастер. По медной части. Хозяин его взял с обозом, чтоб глядел. — Он помолчал. — Мы медь берём. Котлы, тазы, посуду старую. На Москве медь нынче в цене, сам знаешь. А в

Казани её у татар и у чувашей полно, по дворам, а цену здесь ещё не знают. Афанасий медь глядел: какая добрая, какая с примесью, какая звонкая. Он в этом толк знал.

Ершов ничего не сказал. Ибрагим за его спиной кашлянул.

— Что-то не так? — спросил Корнило.

— Ничего, — сказал Ибрагим. — Мороз.

Губной был у себя. Дьячок тоже был: сидел на своём месте, бледный, с больной головой, и переписывал что-то, морщась. Тело лежало там же, где вчера, на лавке, только теперь накрытое рогожей до подбородка. Сторож у печи грел руки.

Корнило вошёл, снял шапку, перекрестился на образ в углу, потом подошёл к лавке и долго смотрел. Лицо у него не изменилось. Только складка у рта ушла, и рот сделался прямой.

— Он, — сказал он. — Афанасий.

Он перекрестился ещё раз, потом наклонился и поправил на мёртвом рогожу, подтянул выше, к самой бороде, будто укрывал спящего. Постоял. Отошёл к столу.

— Ну вот, — сказал губной и посмотрел на Ершова с облегчением. — Имя есть.

Дьячок обмакнул перо.

— Как писать? — спросил губной.

— Афанасий Иванов сын Рябов, — сказал Корнило. — Московский. Посадский человек Сретенской сотни. Торгового человека Василья Голованова наёмный работник. — Он

подумал. — Лет ему тридцать восемь. Жена на Москве. Детей трое.

Дьячок писал. Губной искоса глянул на Ершова, и Ершов вспомнил, что вчера губной говорил про жену, которая, может, ждёт. Губной тоже, видно, вспомнил, потому что отвернулся.

— Когда ты его в последний раз видел? — спросил Ершов.

Корнило ответил не сразу. Он смотрел на рогожу.

— В Васильев вечер, — сказал он. — Перед Васильевым днём. На ночь. Мы у Сыся в людской сидели, вся обозная братия, праздник, как водится. Пили. Афанасий пил крепко. Он и на Москве, грешный, этим... — Он не договорил. — Ночью встал и ушёл. Сказал: к куме. Какая у него в Казани кума, я не знаю. Может, и правда кума. Может, так сказал.

— Один ушёл?

— Один. — Корнило посмотрел на Ершова прямо, ясными глазами. — Я ещё сказал ему: куда ты, на ночь глядя, мороз. А он рукой махнул. Он, когда выпьет, никого не слушал.

— А ты?

— А я спать лёг. Мне с утра на торг, кожи смотреть.

— И не хватился? Шесть дней?

Корнило вздохнул. Вздохнул не тяжело, а так, будто ждал этого вопроса и ему было за этот вопрос неловко, но не за себя, а за Афанасия.

— Хватился, — сказал он. — На второй день. Спрашивал. Обозных спрашивал, Сыся спрашивал. Никто не видел. Ду-

мал — загулял. Он на Москве, бывало, по неделе пропадал. Жена его ко мне приходила, плакала: Корнило Савич, где мой. А он через неделю сам является, без шапки, без кушака, весёлый. — Корнило покачал головой. — Святки. Кто на Святках кого ищет? Я думал: к Крещенью явится, протрезвеет. А он вон как.

Губной кивнул, будто всё было понятно. Дьячок писал.

— Шапка его где? — спросил Ершов.

— Шапка? — Корнило подумал. — Не знаю. В шапке ушёл, верно. Мороз ведь.

— На нём шапки не было.

— Значит, потерял, — просто сказал Корнило. — Он всегда терял. Я ж говорю.

Ершов посмотрел на губного. Губной смотрел в стол. Ершов подошёл к столу, взял кошель, развязал и вынул оба узелка. Положил перед Корнилой, рядом, серый и бурый.

— Это при нём было.

Корнило посмотрел на узелки. Не тронул.

— Деньги?

— Медь. Два рубля двадцать алтын.

— Это хозяйские, — сказал Корнило. — Я ему на Святках давал. На медь, на покупку. Он у чувашей котёл торговал, большой, пивной. Хотел за два рубля с полтиной взять. — Он помолчал. — Значит, не взял.

— А почему в двух узлах?

Корнило поднял на него глаза. В глазах было лёгкое удив-

ление, ничего больше.

— Не знаю, — сказал он. — Он свои деньги всегда по узлам раскладывал. На то, на это. Мастеровой человек, у него в голове всё по полочкам. — Он чуть улыбнулся. — Я ему, бывало, говорил: Афанасий, ты бы ещё на каждую копейку по узелку. А он: у меня порядок.

Губной хмыкнул. Дьячок поднял голову от бумаги, ожидая, писать ли про узлы.

— Хозяйские деньги, — сказал Корнило, — я бы взял. Коли можно. Мне перед хозяином отчитываться.

— Нельзя, — сказал губной. — Пока сыск. Под замком полежат.

— Пока сыск, — согласился Корнило без спора. — Понимаю. — Он поклонился губному. — А тело? Хоронить-то как? Мне бы по-людски. Хозяин не простит, коли его в убогий дом. Я заплачу. За отпевание, за могилу. Не на Москву же его везти, зимой, в санях.

— Это потом, — сказал губной. — Это с дьяком.

— С дьяком так с дьяком, — сказал Корнило.

Он потянулся взять шапку со стола, и Ершов увидел его правую руку. Рука была небольшая, чистая, ухоженная, с ровными ногтями, торговая рука, без мозолей. Только кончики пальцев, все четыре, кроме большого, были красные и шелушились, кожа на них слезала тонкими лоскутками, как бывает, когда руку прихватит морозом, а потом она отойдёт.

Корнило заметил его взгляд. Посмотрел на свою руку,

будто и сам видел её впервые.

— Прихватило, — сказал он спокойно. — На второй день Святки, сани разгружали. Рукавицу сронил в снег, а пока искал — вот. — Он пошевелил пальцами. — Отходит уже. Ты, я слышал, тоже руку попортил.

— Попортил, — сказал Ершов.

— Огнём?

— Огнём.

— От огня хуже, — сказал Корнило с сочувствием. — От мороза отходит. А огонь след оставляет.

Он надел шапку, поклонился губному, поклонился Ершову, кивнул Ибрагиму и вышел. Через окно было видно, как он идёт по улице, не торопясь, обходя наледь у коновязи.

Губной долго молчал. Дьячок дописывал и дул на бумагу.

— Ну вот, — сказал губной наконец. — Имя есть. Москвич. Пьяный. Ушёл ночью к куме, шапку потерял. Хозяйские деньги при нём, целые. — Он посмотрел на Ершова. — Кто его по затылку, коли деньги целые? Грабитель два рубля оставит?

— Не оставит, — согласился Ершов.

— Вот. — Губной вздохнул. — Дьяк вечером спросит. Что мне говорить?

— Говори: имя сыскано. А кума не сыскана.

Губной подумал.

— Кума не сыскана, — повторил он, будто пробуя на вкус. — Ну, это можно. Это правда.

На улице Ибрагим нагнал Ершова и пошёл рядом. Долго молчал. Потом сказал:

— Он сказал: цену здесь не знают.

— Сказал.

— Здесь знают. — Ибрагим сплюнул в снег. — Мустафа медь с осени продаёт и цену знает получше московского. Всякий, кто на торгу сидит, знает. — Он помолчал. — Это он, может, у себя на Москве так думает. А может, хозяину так пишет.

Ершов ничего не ответил. Они постояли на углу. Мимо прошли сани, гружёные сеном, и возница, мальчишка, свистел.

— Пойдём, — сказал Ершов.

— Куда?

— На реку. Кувшин Акулинин на льду стоит.

До реки они не дошли. Дорога шла мимо Акулининых ворот, и Акулина стояла в воротах, руки под передником, и смотрела на него.

— Кувшин принесли, — сказала она.

— Кто?

— Рыбак. Савка. С утра. С Бакалды пешком пришёл. — Она вынула из-под передника кувшин, глиняный, с отбитым носиком. — Сказал: на льду стоял, у майны. Я, говорит, знаю, чей. Московский поставил. Вот принёс. И окуней в нём принёс. Пять штук. За беспокойство.

— Окуней возьми, — сказал Ершов.

— Взяла уже, — сказала Акулина. — На уху.

Она повертела кувшин в руках и показала ему бок. По боку, от горла до доньшка, шла трещина, тонкая, как волос.

— Новый был, — сказала Акулина.

— Он и так был с отбитым носиком.

— Носик — это носик, — сказала Акулина. — Носик я сама отбила. А трещина — твоя. — Она подумала. — Три деньги.

— Серебром?

— Серебром, — сказала Акулина. — А уху тебе медью налью. Так и быть.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Сдача

В воскресенье после Крещенья Ершов высыпал на сундук всё, что у него было, и стал считать.

Считать было недолго. Серебра оставалось немного: несколько копеек, тусклых, тонких, похожих на чешуйки, и одна старая, ещё Михайловская, стёртая так, что царь на ней был без лица. Их Ершов отложил в сторону, отдельно, и прикрыл ладонью, будто их могли увести. Остальное было медью. Медь ему выдали на Святках в приказной избе, кормовые за два месяца, и подьячий, который выдавал, отсчитал их из мешка, не глядя, и сказал, что серебра нет и не будет, а кто недоволен, тот может писать челобитную на Москву. Ершов недоволен не был. Он тогда вообще не думал, медь это или серебро. Деньги и деньги. Копейка и копейка. Так говорил и губной.

Теперь он сидел над этой медью и смотрел на неё, как смотрят на родню, которая оказалась не такой, как думали.

Ибрагим сидел на лавке у двери и смотрел тоже.

— Ну, — сказал Ибрагим. — Давай по порядку.

— Давай.

— Акулине за постой.

— Акулине за постой.

— Сколько?

Ершов отсчитал. Ибрагим кивнул, будто сам назначал эту

цену.

— Теперь посмотрим, что она скажет, — сказал он.

— Что она скажет?

— Увидишь.

Акулина сказала. Она вошла, когда её позвали, вытирая руки о передник, посмотрела на медь, разложенную кучками, посмотрела на Ершова и на Ибрагима, и лицо у неё сделалось такое, какое бывает у торговли на рыбном ряду, когда покупатель ещё не сказал ни слова, а она уже знает, сколько он предложит.

— Медью? — спросила она.

— Медью.

— Медью — с придачей, — сказала Акулина. — Деньга на гривну.

Ершов посмотрел на Ибрагима. Ибрагим смотрел в потолок.

— Почему с придачей? — спросил Ершов.

— Потому что медь, — сказала Акулина. — Я дрова беру — с меня за медь придачу просят. Я соль беру — с меня придачу. Я у Фёклы мыло беру — Фёкла говорит: серебром давай, а медью — с придачей. А я что, крайняя? — Она скрестила руки. — Все с придачей, и я с придачей. Деньга на гривну. Это ещё по-божески.

Ершов отсчитал с придачей. Акулина пересчитала, медленно, губами, сгребла медь в передник и ушла. В дверях обернулась:

— Серебром было бы ровно, — сказала она. — Я ж не за себя. Я за порядок.

Дверь закрылась.

— Деньга на гривну, — сказал Ершов.

— Это пока, — сказал Ибрагим.

Они считали дальше. Фёкле за стирку. Дрова, которые Ершов покупал сам, потому что Акулина топила по своему разумению, а её разумение кончалось на ночь. Свечи, сальные, по деньге штука, а он жёг их по две за вечер, потому что писал. Бумага, писчая, которую в приказной избе давали по счёту, а ему было мало. Чернила. Сапоги, которые надо было подбить, потому что на казанском льду каблуки стёрлись за месяц. И Ибрагим.

Ибрагим себя посчитал последним, скромно, отдельной кучкой.

— Это я, — сказал он.

— Это ты, — сказал Ершов.

Ибрагим взял свою кучку, пересчитал, ссыпал в кошель. Потом посидел, подумал.

— Мне — без придачи, — сказал он. — Я свой.

— Спасибо.

— Пока, — добавил Ибрагим.

Ершов посмотрел на то, что осталось на сундуке. Серебро под ладонью он ещё не трогал. Меди оставалось на месяц, если жить, как жил. Кормовые на следующие два месяца ему обещали к Сретению. Обещали — значит, может, к Масле-

ной. Может, к Пасхе. Подьячий в приказной избе, когда выдавал, тоже сказал «к Сретенью», и сказал таким голосом, что Ершов ему не поверил.

— В Москве, — сказал Ершов, — я на свою медь жил. Жалованье — медью. Всё медью. Два года уже. И не замечал.

— В Москве ты в приказе сидел, — сказал Ибрагим. — На своём столе. Тебе там и так несли.

Ершов посмотрел на него.

— Я ничего не брал.

— Не брал, — согласился Ибрагим. — А несли. Кто несёт — тот и придачу сам приложит. — Он встал и надел шапку. — Пойдём. Хоронить будут.

Рябова отпевали у Николы Гостиного. Корнило выбрал эту церковь сам: близко к торгу, близко к Сысоеву двору, и, как он сказал губному, у Николы на Москве Афанасий был прихожанин, так пусть и здесь будет у Николы. Губной разрешил. Дьяк, говорили, тоже разрешил, сразу, без спора, и тем же вечером велел губному отписать про утопленника коротко: имя сыскано, похоронен хозяйским коштом, дело кончено. Губной отписал по-своему: имя сыскано, похоронен хозяйским коштом, а как помер — о том сыск ещё не кончен. Дьяк, говорили, прочёл и ничего не сказал.

В церкви было холодно и тесно. Пришли обозные, человек пятнадцать, в армяках и тулупах, с шапками в руках, пришёл Сысой, умытый, в чистой рубаше под шубой, пришли какие-то посадские бабы, которые ходили на все отпевания

подряд, чтобы потом рассказывать. Гроб стоял посередине, открытый, сосновый, свежий, ещё пахнувший стружкой. Рябов лежал в нём в том же синем кафтане, высохшем и вычищенном, с бумажным венчиком на лбу. Без шапки.

Корнило стоял у самого гроба, в головах, со свечой. Стоял прямо, не крестился лишнего, подпевал там, где положено, и вполголоса, ровно. Когда пели «Со святыми упокой», он опустил голову, и свеча в его руке дрогнула, и воск капнул ему на пальцы, на те самые, красные, шелушащиеся, и он не отдёргнул руки.

Ершов стоял у стены, рядом с Ибрагимом. Пономарь, тот самый, сухонький, с красными веками, проходя мимо с кадилом, глянул на Ершова, узнал и чуть кивнул, как кивают знакомому. Ершов кивнул в ответ.

После отпевания, когда гроб уже выносили, Корнило подошёл к попу. Ершов видел это от дверей. Корнило достал кошель и отсчитал попу в ладонь, и поп смотрел на ладонь и кивал, и что-то сказал Корниле, и Корнило отсчитал ещё. Монеты были мелкие, тонкие, белые. Серебро.

На кладбище, у ограды, где уже была вырыта в мёрзлой земле могила, долбленная два дня кирками, Корнило бросил горсть земли первым. Потом обозные. Потом Сысой. Потом Ершов, потому что стоял рядом и не бросить было нельзя. Мёрзлая земля стукнула о крышку, как камень.

Когда закопали, Корнило подошёл к Ершову.

— Спасибо, что пришёл, Тимофей Андреевич, — сказал

он. — Не ждал.

— Земляк, — сказал Ершов.

— Земляк, — согласился Корнило. Он посмотрел на холмик. — Я жене его отпишу. С первым гонцом. Что похоронен по-людски, с отпеванием, с именем. Что сыщик московский был. Ей легче будет. — Он помолчал. — Губной говорил, ты сыск ведёшь. Кто его по затылку.

— Губной много говорит.

— Губной много говорит, — согласился Корнило и чуть улыбнулся. — Коли что надо — я у Сысои. Хозяин на Святках отписал: обоз к Масленой на Москву отпусти, а сам до полой воды сиди, весеннюю икру бери да с первыми стругами сплавай. Так что я теперь казанский до весны. Спрашивай, что хочешь. Мне скрывать нечего. Я Афанасия двенадцать лет знал.

Он поклонился и пошёл к своим обозным.

Ибрагим смотрел ему вслед.

— Попу серебром дал, — сказал он.

— Видел.

— Сысою серебром. Попу серебром. — Ибрагим подумал.

— А Афанасию на котёл — медью. Новой.

Ершов ничего не ответил.

Марфа ждала их у Акулининых ворот. Она стояла, привалившись к воротному столбу, в праздничной шубе и в новом платке, и лицо у неё было торжественное, как у человека, который принёс весть с войны.

— Нынче, — сказала она, не здороваясь. — После вечера.

— Что — нынче?

— Анисья Фёдоровна. — Марфа отлепилась от столба. — Передумала. Я, говорит, Марфа Кузьминишна, погорячилась. Человек, говорит, служилый, его дело такое, где мёртвый, там и он. Я, говорит, за стрельцом жила, понимаю. Пусть, говорит, приходит. Пироги, говорит, новые испеку.

— Марфа Кузьминишна, я...

— После вечера, — сказала Марфа. — В Стрелецкой слободе, за Кабаном. Ибрагим знает. — Она глянула на Ибрагима. Ибрагим кивнул. — Шубу почисть. Опять.

И ушла.

Ершов посмотрел на Ибрагима.

— Ты знаешь, где она живёт?

— Все знают, — сказал Ибрагим. — Двор крепкий. Ворота новые. Пятидесятник Глотов хозяин был. — Он помолчал. — Был.

Двор и правда был крепкий. Ворота новые, тесовые, с резной причелиной, изба на подклети, с крыльцом, с горницей, амбар, конюшня, баня, а за баней огород, засыпанный снегом. Всё было прибрано, подметено, дрова сложены в поленницу под навесом, ровно, торцами наружу, как кладут в монастырях. На крыльце их встретил мальчишка, работник, и провёл в горницу.

В горнице было тепло, чисто, светло от двух свечей. Пахло

пирогам. На столе стояли пироги на деревянном блюде, и кувшин с квасом, и чаши. Анисья Фёдоровна сидела на лавке у стола, в тёмном сарафане, в кике, с прямой спиной, и, когда они вошли, встала и поклонилась.

— Садись, Тимофей Андреевич, — сказала она. — И ты, Ибрагим, садись. Марфа Кузьминишна не придёт. Я ей сказала: сами поговорим. Не девки.

Ершов сел. Ибрагим сел у двери, на краешек, как садился всегда.

Анисья Фёдоровна налила квасу. Пододвинула пироги.

— Ешь, — сказала она. — С визигой. Те, что на Крещенье, я соседке отдала. Эти новые.

Ершов ел. Пирог был хороший, с толстым краем, с начинкой до самого края, не пожалела. Он сказал, что хороший. Анисья Фёдоровна кивнула, будто и не сомневалась.

Потом, когда он съел, она сложила руки на столе и посмотрела на него прямо.

— Я тебя спрошу, Тимофей Андреевич, — сказала она. — А ты не обижайся. Я вдова. Мне за двором смотреть. Мне в девичьи разговоры некогда.

— Спрашивай.

— Ты на государевой службе.

— На государевой.

— Подьячий.

— Подьячий.

— Жалованье тебе какое?

Ершов назвал. Анисья Фёдоровна кивнула.

— А здесь, в Казани, — кормовые?

— Кормовые.

— Сколько?

Ершов назвал. Ибрагим у двери тихонько вздохнул.

— Каждый месяц? — спросила Анисья Фёдоровна.

— Раз в два месяца.

— В срок дают?

Ершов помолчал.

— На Святках дали.

— За какие месяцы?

— За осень, — сказал Ершов. — За октябрь и за ноябрь.

Анисья Фёдоровна смотрела на него. Не зло. Просто смотрела.

— За октябрь, — сказала она, — на Святках. — Она помолчала. — Медью?

— Медью.

Анисья Фёдоровна вздохнула. Взяла чашу с квасом, отпила, поставила. Потом сказала, глядя не на Ершова, а на свечу:

— Мне Кузьма два года жалованье медью носил. С тех пор как медь пошла. Пятидесятник, жалованье ему хорошее было. Носил — я радовалась: много, тяжёлое, звенит. И брали её тогда, как серебро, слова никто не говорил. Кузьма смеялся: вот, говорит, Анисья, государь медь в серебро обратил, а ты не верила. — Она помолчала. — А этой зимой я пошла к меняле. Мне серебро надо было, сестре в Нижний долг от-

дать: у неё серебром брала, серебром и отдать. Меняла мне за рубль серебра взял рубль медью да ещё четыре копейки. Четыре копейки — это ничего. А только при Кузьме он и копейки не брал.

— Он от чего помер?

— От лихоманки. Позапрошлой осенью. Дома, вон на той лавке. — Она перекрестилась. — Царство небесное. Медь-то ни при чём. Я к тому, что он до последнего верил, что медь — те же деньги. Так и не узнал.

Она повернулась к Ершову.

— Ты, Тимофей Андреевич, человек хороший. Это я вижу. Ты на Иордани за утопленником пошёл, бросил меня, — это я тоже поняла. Ты не со зла. Ты таким родился. Такие и нужны. Кузьма тоже такой был: где драка, там и он. Только мне второй раз так жить неохота.

— Как?

— Медно, — сказала Анисья Фёдоровна.

Ибрагим у двери кашлянул так, что, видно, подавился.

— Я не в обиду, — сказала Анисья Фёдоровна. — Двор у меня свой. Огород свой. Корова, лошадь. Работник. Я пироги пеку и в стрелецкую избу продаю. Мне стрелы медью платят, а я эту медь в тот же день на муку меняю, пока не подешевела. Кручусь. А ты придёшь — у тебя кормовые на Святках за октябрь. Медью. И я с тобой ещё и за тебя крутиться буду. — Она развела руками. — Нет, Тимофей Андреевич. Мне так не надо. Ты не сердись.

— Я не сержусь, — сказал Ершов. Он и правда не сердился. Он вдруг почувствовал облегчение, такое большое, что ему стало стыдно, и он, чтобы скрыть это, взял ещё один пирог.

— Вот это правильно, — сказала Анисья Фёдоровна. — Пироги ешь. Пироги я тебе с собой заверну. Не пропадать же. — Она встала, взяла с полки чистую тряпицу и стала заворачивать. Не оборачиваясь, сказала: — А на Кондратьеву ты зря смотришь.

Ершов перестал жевать.

— Я не смотрю.

— Смотришь. Вся слобода знает. На Иордани смотрел. — Анисья Фёдоровна завязала тряпицу. — Я не со зла. Она баба толковая, ничего не скажу. Только она тоже медная.

— Как это?

— Москвичи у неё соль берут. Сысоевы. — Анисья Фёдоровна поставила свёрток перед ним. — Медью платят. Новенькой. Я своими глазами видела, на прошлой неделе, у её амбара: мешок волокли, тяжёлый, ихние обозные и её рябой. А она берёт. Не морщится. — Она пожала плечами. — Может, ей и так ладно. Может, она знает, куда эту медь девать. Я не знаю. Я бы не взяла.

Ершов посмотрел на свёрток. Потом на неё.

— Спасибо, Анисья Фёдоровна.

— За пироги?

— За всё.

Анисья Фёдоровна кивнула. Проводила их до крыльца. На крыльце постояла, посмотрела на небо, на звёзды, на дым из трубы.

— Мороз завтра будет, — сказала она. — Крепкий. Шубу не забудь застегнуть.

На улице было темно, снег скрипел, звёзды стояли низко. Ершов шёл со свёртком под мышкой и молчал. Ибрагим шёл рядом и тоже молчал. Потом сказал:

— Медно.

— Медно, — сказал Ершов.

— Хорошая баба, — сказал Ибрагим. — Умная. — Он подумал. — Марфа спросит, что ты ей сделал.

— Пирог съел.

— Два, — сказал Ибрагим. — И три с собой несёшь.

Они вышли к торгу. Торг был пустой, ряды закрыты, только у калашного ряда, на углу, под навесом, ещё сидела баба с лотком, закутанная по самые глаза, и продавала калачи, последние, вчерашние, тем, кто шёл от вечерни. Ершов остановился. Пирогов у него было три, в тряпице. Есть он не хотел. Но он всё равно подошёл и спросил калач.

— Копейка, — сказала баба. — Серебром.

— А медью?

— Медью не беру. — Баба шмыгнула носом. — Мне муку серебром отпускают. С чего я тебе медью?

Ершов постоял. Потом полез за пазуху, туда, где отдельно, в тряпице, лежало серебро, и вынул копейку. Попалась

старая, Михайловская, стёртая, царь без лица. Баба посмотрела на неё при свете фонаря, повертела, попробовала на зуб и сунула калач ему в руку, тёплый, завёрнутый в лоскут. Ершов отломил кусок и стал жевать, стоя посреди пустого торгова, со свёртком пирогов под мышкой и с калачом в руке.

— Зачем тебе калач? — спросил Ибрагим. — У тебя пироги.

— Пироги чужие, — сказал Ершов. — А калач свой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Савкина сеть

Мороз, как и обещала Анисья Фёдоровна, ударил крепкий. Наутро у Акулины замёрзла вода в кадке, и Акулина колола её ковшом и ругалась на Ершова, будто это он заморозил. Ершов надел под шубу второй кафтан, старый, и всё равно, выйдя на улицу, почувствовал, как мороз взял его за лицо, за уши, за горло, будто проверял, что за человек.

Савкина изба стояла на Бакалде, на самом краю, над рекой, так близко к обрыву, что казалось, весной её смоем. Изба была низкая, чёрная, топилась по-чёрному, и дым шёл не из трубы, а из волокового окна под крышей, лениво, клочьями. Перед избой на кольях висели сети, обледенелые, серые, похожие на паутину, в которую попал снег. Собака на привязи, рыжая, лохматая, залаяла на них, потом увидела Ибрагима, замолчала и завиляла хвостом.

— Ты и тут знакомый? — спросил Ершов.

— Собака знакомая, — сказал Ибрагим. — Савку я не знаю.

Савка был дома. Он сидел у порога на чурбаке, в той же драной шубе, подпоясанной верёвкой, и вязал сеть. Вернее, чинил: перед ним на коленях лежала та самая сеть, изрезанная стрельцами, и он сшивал разрезы бечёвкой, узел за узлом, быстро, не глядя, челноком из берёзы. Увидев Ершова, он встал, уронил челнок и поклонился так низко, что шапка

свалилась в снег.

— Батюшка, — сказал он. — Я ж не знал.

— Знаю, что не знал. Сядь.

Савка не сел. Он поднял шапку, отряхнул, но не надел, а так и держал в руке, и смотрел на Ершова с таким страхом, будто ждал, что его сейчас поведут в губную и там подвешат.

— Сядь, Савва, — сказал Ершов. — Я тебя не за этим.

Савка сел. Ершов сел на соседний чурбак. Ибрагим остался стоять, у собаки, и чесал её за ухом.

— Расскажи мне про сеть, — сказал Ершов. — Всё. По порядку. Когда ставил, где ставил, как ставил.

Савка посмотрел на него недоверчиво. Потом на сеть у себя на коленях. Потом опять на Ершова. Видно, никто никогда не просил его рассказать про сеть, и он не знал, как это — рассказывать про сеть приказному человеку.

— Ставил на третий день Святки, — сказал он наконец. — Как лёд встал толстый. До того не ставил, лёд был худой, я в прошлую зиму провалился, чуть не утоп. На третий день лёд добрый, в две ладони, я и пошёл.

— Почему там? У Иордани?

— А там место. — Савка оживился. — Там под берегом яма. Глубоко. Рыба зимой в ямах стоит, в глубине, ей там теплее. Окунь стоит, плотва, лещ бывает. Я там каждую зиму ставлю. Мой отец там ставил. — Он махнул рукой куда-то за реку. — А что Иордань рядом, так Иордань каждый год в разном месте рубят. Где поп велит. В прошлом году ниже

рубили, у амбаров. В позапрошлом выше. А нынче вот туда.

— Как ставил?

Савка объяснил. Две майны, в шести саженьях одна от другой. Из одной в другую под льдом протягивается шест, длинный, с верёвкой на конце, и за верёвку подо льдом протягивается сеть. Концы сети привязываются к кольям, замороженным у каждой майны. Сеть висит подо льдом, как забор, и рыба, которая ходит в яме, в неё идёт. Потом, когда надо, приходишь, рубишь майны заново, если замёрзли, и тянешь сеть за конец. Выбираешь рыбу. Опускаешь обратно.

— А чтоб не замёрзли, — сказал Савка, — я на майны щиты кладу. Из жердей. А на щиты хворост, а на хворост снег. Под щитом лёд не так берёт. Не до дна. Ткнёшь пешнёй раз-другой — и вода.

— На обе майны?

— На обе.

— На пятый день ты глядел?

— Глядел. — Савка кивнул. — На пятый день пришёл, щиты снял, лёд пробил, сеть вытянул. Рыбы мало было. Три окуня. — Он подумал. — Я их тут же и съел. Ну, не тут. Дома. Сеть опустил, щиты положил. И пошёл.

— Сеть пустая была? Кроме окуней?

— Пустая. Чистая.

— Щиты как лежали, когда ты на Крещение пришёл?

Савка замолчал. Опустил глаза на сеть у себя на коленях. Потом посмотрел на Ибрагима, на собаку, на реку, на небо.

Потом снова на сеть.

— Савва, — сказал Ершов.

— Я сперва к дальней пошёл, — сказал Савка тихо. — Как всегда. Щит снял, лёд прорубил, конец от кола отвязал. Там щит как я клал, так и лежал. А пришёл к ближней — он сдвинут. И хворост раскидан, и снег раскидан. Я подумал — ребятишки. Ребятишки на Святках по льду бегают, им всё одно, что сеть, что не сеть. Или собака чья. Или ряженые. — Он помолчал. — Я подумал и забыл. Мне не до того было. Голова болела. Я торопился. Щит откинул, прорубил и тянуть стал. — Он поднял на Ершова глаза. — Я тогда не подумал.

Ершов молчал.

— Батюшка, — сказал Савка. — Мне за это что будет? Что я не сказал?

— Ничего не будет, — сказал Ершов. — Ты сейчас сказал.

— Губному скажешь?

— Скажу.

Савка вздохнул и надел наконец шапку.

— Губной меня к себе потащит, — сказал он. — Спрашивать будет. А у меня сеть.

— Не потащит. Я сам запишу. Ты руку приложишь.

— Я не умею.

— Крест поставишь.

Савка подумал и кивнул. Взял челнок, опять стал вязать. Руки у него были красные, растрескавшиеся, в цыпках, с

чёрными от смолы ногтями, и вязали сами по себе, быстро, а Савка смотрел не на руки, а на реку.

— Ещё, — сказал Ершов. — Тропа там есть? Возле майн?

— Тропа? — Савка подумал. — Есть. Как не быть. Зимник там. На Бакалду, через Казанку. С посада к нам на Святки ходят, колядовать, на гулянки. Девки с посада к нашим парням ходят, наши парни к посадским. По льду ближе, чем кругом, через мост. Тропа у самых майн идёт, в двадцати шагах. Я потому и щиты кладу, чтоб кто пьяный в майну не угодил.

— На Васильев вечер ходили?

— А как же. — Савка даже улыбнулся. — Васильев вечер — тоже гулянка. Всю ночь ходили. Туда-сюда. С фонарями, с песнями. Я сам ходил. — Он помолчал. — Я до утра у кума сидел. Тут, на Бакалде. Кум меня до дому довёл.

— Видел кого? На тропе?

Савка покачал головой.

— Народу много было. Ряженые. В личинах, в вывороченных шубах. Кто кого разберёт. — Он снова помолчал. — А возле майн, батюшка, никого не видел. Я туда не глядел. Я с кумом был.

Писать пошли в избу. В избе было дымно, темно и жарко, под потолком висела сажа, у печи сидела Савкина старуха-мать и пряла, не оборачиваясь. Ершов сел к столу, к лучине, достал из-за пазухи бумагу, чернильницу в мешочке, перо. Чернила загустели на морозе. Он поставил чернильни-

цу на печной приступок, подождал, пока отойдут, и стал писать, держа перо низко, медленно, чтобы не капнуть: что сеть ставлена на третий день Святков, что на пятый день смотрена и была пуста, что на Крещение щит на дальней майне лежал как положен, а на ближней был сдвинут, хворост и снег раскиданы. Что тропа зимняя на Бакалду идёт в двадцати шагах и на Васильев вечер по ней ходил народ всю ночь. Перечёл вслух. Савка слушал, шевеля губами, и, когда Ершов дочитал, кивнул.

— Так, — сказал он. — Всё так.

Он поставил крест. Крест вышел ровный, крепкий, как узел на сети.

Потом Ершов пошёл на реку. Он хотел увидеть ближнюю майну сам: с какой стороны сдвинут щит, к тропе или к берегу, как вмёрзли колья, можно ли подойти к майне от тропы, не проваливаясь в целину, и нет ли там, под хворостом, чего-нибудь, чего Савка с похмелья не заметил.

Ибрагим пошёл с ним, хотя и ворчал, что мороз, и что на реке ничего нет, и что смотреть на лёд можно и с берега. Они спустились по Савкиной тропе с обрыва, мимо развешанных сетей, на лёд. Лёд был белый, ровный, засыпанный снегом, и по снегу во все стороны шли следы: человечесьи, санные, собачьи, птичьи. Ветра не было. Мороз стоял такой, что над рекой висела дымка, и Кремль на том берегу был в этой дымке белый, будто нарисованный на белом.

Иордань они увидели издалека: ледяной крест ещё стоял,

только верх у него отломился. Вокруг креста лёд был истоптан, изрыт, весь в ямах и кучах снега. Самой проруби уже не было, вернее, она была, но затянулась, и кто-то положил поперёк неё две доски, чтобы не провалились.

Савкины майны были ниже, у берега, и Ершов шёл туда, считая шаги. Двести сорок. Он остановился.

Майн не было.

На их месте, и вокруг, и дальше вдоль берега, стояли мужики, человек десять, с пешнями, с пилами, с баграми, и рубили лёд. Рубили большими кусками, в аршин, в полтора, ровными брусьями, выпиливали, подцепляли баграми и вытаскивали на снег, и брусья лежали на снегу рядами, синие, прозрачные, дымящиеся на морозе. У берега стояли сани, двое, и на сани грузили лёд.

— Это что? — спросил Ершов.

— Лёд, — сказал Ибрагим. — На погребя.

Ершов подошёл к ближнему мужику. Мужик был молодой, румяный, с инеем на бороде, и пилил, широко расставив ноги. Увидев Ершова, он выпрямился и вытер лоб рукавицей.

— Тут майны были, — сказал Ершов. — Рыбацкие. Две. Со щитами.

— Были, — согласился мужик. — Мы их вчера и сломали. Щиты — вон. — Он кивнул на кучу жердей и хвороста у саней. — На растопку возьмём. Савкины, что ль? Скажи Савке, пусть не ругается. Мы ему лёд оставим, коли попро-

сит. — Он засмеялся. — Тут лёд освящённый. У кого в погребке иорданский лёд, у того квас до Петрова дня не киснет. Я так думаю.

Ершов посмотрел на кучу жердей, перемешанных, переломанных, в которых уже не разобрать было, какой щит лежал на какой майне. На ровные синие брусья в снегу. На то место, где были майны и где теперь была вода, чёрная, дымящаяся, в прямоугольной выпиленной проруби, и мужики стояли по краям и цепляли баграми следующий брус. Колья ушли вместе со льдом. Хворост был затоптан. Подход от тропы был теперь не целиной, а санной дорогой, разъезженной до блеска.

Он постоял. Мужик ждал, держа пилу.

— Пили, — сказал Ершов. — Пили.

Мужик пожал плечами и стал пилить.

Ершов отошёл в сторону, к тропе. Тропа шла с посада, от Булака, через Казанку, на Бакалду, и была видна хорошо, утоптанная, широкая, со следами санных полозьев по краю. Он прошёл по ней в одну сторону, к посадку, шагов сто, и обратно, и снова в другую сторону, к Бакалде. Двадцать шагов от тропы до того места, где были майны. Тогда, в Святки, — двадцать шагов по снегу, по целине. Ночью. В Васильев вечер. Когда по тропе всю ночь ходят ряженные, с фонарями, с песнями, в личинах и вывороченных шубах, и никто никого не узнаёт.

Он подумал, что тот, кто тащил тело от тропы до майны,

мог тащить его и при людях. Мог крикнуть: эй, пособи, кум упился. И кто-нибудь пособил бы. На Васильев вечер.

— Тимофей Андреевич.

Ершов обернулся. Ибрагим стоял на тропе, не на снегу, и смотрел не на него, а мимо, к посаду.

По тропе шла Аграфена Петровна.

Она шла от посада, быстро, по-мужски, как всегда ходила, в тёмной шубе, в тёплом платке, и за ней, шагах в пяти, рябой приказчик вёл в поводу лошадь с санями. В санях лежали мешки. Аграфена увидела Ершова издали и не замедлила шага и не ускорила, а дошла до него ровно, как шла, и остановилась.

— Здравствуй, Тимофей Андреевич, — сказала она.

— Здравствуй, Аграфена Петровна.

Она посмотрела на мужиков с пилами, на синие брусья, на прорубь.

— Это тут? — спросила она.

— Тут.

— Говорят, ты его сам из сети вынул.

— С Савкой.

Она кивнула. Помолчала. Приказчик за её спиной остановил лошадь и стал смотреть в сторону, на Кремль, будто там было что-то интересное.

— Ты на Иордани с Марфой стоял, — сказала Аграфена.

— Стоял.

— И со стрелецкой вдовой.

— И со вдовой.

— Марфа говорит, вдова тебе отказала.

Ершов посмотрел на неё. Лицо у неё было спокойное, только в углу рта что-то дрогнуло.

— Отказала, — сказал он.

— За что?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.